

По Чуйскому тракту

Путевые очерки

I. Первые этапы

В начале мая я выехал на Алтай, — который так манил меня и с которым я был знаком ранее со стороны верхней Бии, Телецкого озера, Чулышманской долины и Катунь до Манжерока. Весна нонче поздняя, на пароходе холодно.

Едва выбрались на Обь, снег повалил, засвистел ветер. Пассажиры ежились, кутались во что придется и походили на осенних коченеющих мух. Неумолчно звонок звенел; пассажиры усердно «требовали».

Внизу, под нами, ревели песни, гармошка гавкала, кто-то трепака катал. В такую стужу поневоле плясать пойдешь.

Переселенцы едут со всем скарбом: корытами, ушатами, сковородниками, горшками. Ведь умудряются люди за четыре тысячи верст в тайгу дрова тащить.

Какой-то курносый парень «с мухой» все зубоскалил над переселенцами, а те уныло молчали, то зубы показывали, щетинились и отходили прочь.

А парень все свое: еще стаканчик треснул, да еще, козырем ходит возле «рассейских» тетенек, заигрывает, присваивается: «Эх, тетка, красны рукава». Наконец, подмигнув молодому, стоящему разиня рот, тамбовцу, под общий хохот поет:

*В Колывани я хворсил —
Лапти с напуском носил.*

И что за город Бийск? И какой там голова сидит? Что за бийские улицы, что за отвратительная, невообразимая грязь. Богатый, разжиревший на монгольских хлебах город не может устроить себе сносных условий жизни. Улицы — сплошная топь, вонь, мерзость, азиатчина. Дороги мостятся щепой, навозом, дохлыми костями, опорками, пимами. На углу домишко ломают, куда мусор валить? На дорогу; куда печку валить? На дорогу, все втопчут в грязь. Это не улицы, а сплошные отвалы. И сколько ни составляй протоколов, протоколами дорогу не вымостишь. Надо по постным дням по всем улицам городского голову в телеге возить — авось одумается, авось догадается сделать заем да вымостить город. Граждане!! Если себя не жаль, пожалейте хоть извозничьих бедных кляч. Я на одной улице видел лошадиную вверх копытом ногу. Неужто это кормилица кобыленка живьем вхлюпалась в ваши, бийцы, провалы? Граждане! Вы приняхались и притерпелись, но свежему человеку в вашем городе невыносимо.

В середине мая я выехал на многогрешный и многострадальный Чуйский тракт.

Погода чудная. В природе какое-то общее ликование: все залито солнцем, все в тепле тонет.

В Нижне-Катунском Катунь широко разлилась. Вода мутная и холодная. На пароме много «дорожников» — ямщиков, идущих с товарами через Чуйский тракт в Кобдо. Груз на двуколках — в простой телеге по тракту, оказывается трудно ехать, телега вконец может «замотать» лошаденку: подъемы крутые, повороты невозможные, грязь — путь трудный.

Говорят разные ужасы о прошлой зиме, погубившей половину скота «в орде» — у теленгитов, калмыков, киргизов. Видимо, большая трагедия разыгралась прошлой зимой в холодных горах Алтая. Вот увидим.

От Нижне-Катунского к Смоленскому местность чуть всхолмлена: сюда докатилась легкая волна

Алтая. Сеют, боронят. Кто в четыре, кто в пять борон. Сторона лошадьми богатая. Кое-где березовые колки да мелкий реденький кустарник.

— Вот тут роща была, да вырубili. Одно дерево у часовни оставили... — говорит ямщик.

— А где дрова берете?

— В камню, в горах.

Вдали еле видны зигзаги алтайских предгорий, охваченных дымкой дали. Слева гора Бубырган царит. Кой-где по равнине стоят серо-желтые столбы дыма.

— Это солому старую жгут, объедья. По пути колодезь с журавлем.

— Из него весной ноне мужика вытащили убитого. Облез весь. Никто теперь воду не берет.

Кажется, освящать хотят. Воду отольют до дна, песочку подсыпят и ладно. Чистенькая водица набежит.

Дальше едем, крест стоит.

— А тут ямщика одного кончили.

Верстах в двух от Смоленского вырастает огромный плоский увал, и за ним тонут дали, даже Алтай наполовину скрылся, и только вершины его все еще маячат. Но лишь вы взберетесь на взлобок увала — сразу все всплывает вверх: и Алтай и дали со столбами желтого дыма.

А село как на ладони сделалось — «сразу поднесли его», — все в кудрявых деревьях, красивое издали, но обычное и своим назьмом, и неряшливостью улиц.

Алтай все надвигается и надвигается, идет на вас. Горы стыдливо закрыты голубыми фатами.

Целомудрием от них веет издали, непорочной чистотой. Тройка ваша бежит вперед, а Алтай все ближе становится. Горы сбрасывают одну за другой воздушные пелены, прекрасную наготу свою открывают, чаруют вас, обещают, что-то сулят. Вблизи перед вами увал-гора. Изукрашена волей человека — все в коврах. Чернеет черными коврами, желтеет желтыми коврами, зеленеет лугами зелеными.

За ней, дальше, на другой горе три дыма, три сизых столба плывут к небу. Табун гусей кружится. Над селом Точильным, на высоком увале, церковь с золотым крестом, а сбоку села стоит на карауле зеленым чумом сопка.

Путь к Старой Белокурихе лежит. Картина красивая. Зеленый-зеленый бархатный увал, по которому бежит коричневая дорога. Справа песок над речкой встал красно-желтым обрывом-стеной. А наверху, на свежей цветистой луговине, только что срубленная молодая часовенка, такая кокетливая, такая выкрутасистая. Плотники возле нее без шапок работают. Один из них все примеряется мужичьим своим, чутким к прекрасному глазом, куда бы еще приляпать хорошенькую, вроде петушка, штучку.

Небо голубое. В небе белым бисером гуси кружатся. Горы отдельными сопками обходят вас, ловко заходят в тыл и с боков, и вы чувствуете, что незаметно, с каждым шагом попадаете все крепче в сладкий плен Алтая.

Алтай идет на вас.

Все безлесными местами еду. Приятно было увидеть вблизи Белокурихи две сиротливые молоденькие сосенки. То ли на Алтай торопятся, то ли вырвались из гор на волю.

Из Белокурихи дальше вечерний путь.

На горы, совсем близкие, ложился сумрак. Чем дальше едем, все темней. Горы тесным силуэтом справа стоят, высокими туманами кроются. И я боюсь подумать, что за горами. Горы в серое небо упираются. А вдруг за ними ничего нет, вдруг ничего нет!

А вдруг за ними страх живет. Я боюсь. Я перестаю об атом думать.

На двух тройках со спутниками едем.

Ямщик-мальчонка сзади гикает, удалой парень. Дорогу хорошо видать, кони бойки. Еще можно слева разглядеть долину, всю в желтых весенних огоньках. Они таким ярким ковром усеяли поляну, что и серые сумерки ре могут скрыть их от усталого взора.

Ямщики останавливают лошадей. Один совсем карапуз, на вид лет девяти. Другой — парень взрослый. Подходят друг к другу, закуривают. Карапуз говорит тоненько, но остроумно, с подковыркою, зубоскал славный.

— Тебе сколько лет? — спрашиваю.

— Шестнадцать.

— Почему такой маленький ростом!

— Мы все с восемнадцати годов начинаем расти, все братья так. Сначала маленькие, а потом вдруг вымахают, — пищит он, дымя папироской.

Другой ямщик, парень, держа в зубах папироску и закуривая от спички карапуза, говорит ему: — Тебе бы надо большому быть, мать у тебя эвон какая рослая.

Мальчонка озорно в ответ пищит:

— А отец-то кто? Мураш?

Парень прыскает со смеху, папироска незакуренной летит изо рта на землю, он срывает свою шапку и, со смехом вскрикнув: «язви-те!», ударяет шапкой карапуза. Из шапки мука летит. Все темней и темней становится. Месяца нет: месяц, должно быть, за черными хребтами бражничает, камам алтайским камлать пособляет, аракой алтайской умывается.

— Вот тут поблизости, — говорит мой ямщик-парень, — есть деревня, там все расейские одни. Дык там, барин, полубовные драки бывают о праздниках...

— Полубовные драки?

— Да. Таков уж у них обычай. Как денек свободный выдался, глядишь, стенка на стенку и полезли. Человек до пятьсот пластаются. С ребят начинают. А «лежучего» не бьют, который свалился. Ну и мнут бока! Так лупят, что страсти. Глядеть больно.

— Ведь убить можно.

Ямщик быстро обертывается и, протестуя, кричит:

— Привышны! У них часто. Страсть любят. Месяц из-за гор свой золотой рог показал, Вот и Алтайское.

На крыльце земской подрумяненная дама в шляпе о пером

— Кто такая? — спрашиваю хозяина. Тот шепчет:

— Со стариком с одним едет, с чуйцем. Из Бийска мамзель.

Месяц над горами стоит, во все лицо ухмыляется.

II. От Алтайского до Муюты

Алтайское — большое торговое село. Больше 5 тысяч жителей. Каменные торговые помещения. Большой магазин Фирсова, бийского купца. Приказчики в воротничках и манжетах, кассирпга в модной прическе — все на городской лад.

Как раз базарный день был. Народу множество. По дорогам все подъезжают и подъезжают. Народ рослый, краснощекий, широкий в кости.

По главной улице на некоторых домах и лачугах самодельные вывески: здесь пимокат живет, тут слесарь, там сапожник. На одной вывеске надписи нет, на ней нарисована палитра, большой бильярд и к нему привязана маленькая лошаденка. Вот и разгадай этот ребус.

Хозяин «земской» старик. Он отводит в сторону и, косясь на своих баб, шепчет:

— Ты мне за услуги-то давай. Бабы говорят:

— Ты старику-то не давай, нам давай, Старик говорит:

— Здесь в Алтайском бабы плохо живут: выйдет замуж да сбежит. А потом в прислуги к кому.

А ночь с ребятами валяется.

— Со своими детьми?

— Нет, с парнями Баба у нас подмоченная... От Алтайского к Черге дорога все время идет в Узкой долине. Горы со всех сторон встали. Издали кажется, что нет пути вперед, что ямщик с дороги сбился, не туда несут кони. Кругом горы. Куда ж пойдет дорога? Она нырнула вниз и стелется по дну долины возле самой речки. Речка играет, весной воды много, быстро струится навстречу нам.

По пути большое село Сараса, надвое разрозненное речкой Милое весной село. Сплошной черемуховый сад. Белыми пушистыми гроздьями цветет черемуха бледно-розовыми бутонами цветут в садах дикие яблони. Ароматом пропитан воздух. Во дворах лачуг и избышек зеленые луговинки. Сараса шумит, свежая и прозрачная.

— А это бахчи в полугоре на солнцепеке-то, — говорит ямщик.

Следующее селение — Нижний Комар.

— Церковь есть у вас?

— Нету. Молебен есть.

Молебен — это изба во двореке, на двух столбах маленькие колокола, а огромный могильный крест стоит прислоненный к стене «молебна». Сам «молебен» без креста.

Далее Комарский перевал начинается, крутой, нелепый, трудный для лошадей. С перевала открывается широкий горный ландшафт.

Мимолетный летний дождь прошел. И вновь заблестало солнце. Жарко Где-то гром прогудел. Попадаются разбитые грозой лиственницы.

Ямщик говорит:

— И людей убивает: как-то сразу троих у нас убило — брата да двух сестер. Ямщик словоохотлив;

— А то, ленись, я и сам попал в переплет. Только это я приехал в Муэту на земскую, а туча синим-синя накатила из-за гор. Молния как стегнет, гром как треснет, я и присел, огромило. Коренник на колени пал, а пристяжки как подхватят его да попрут: изгородь порешили да и лес как начали чесать. Очухался я — гляжу: баба на дворе в луже валяется, потом гляжу — подыматься стала, поднялась да к стене, оперлась о стену, стоит, плачет, из ума ее вышибло. Оказалось, что телеграфный столб рядышком с земской в щепы разразило, в мелкую мочалу измочалить могло. С тех пор побаиваться начал.

— Говорят, кого громом убьет, душа в рай попадет?

— Ну, этого мы не знаем. Ни чох, ни мох, А как здесь ежели хорошо, нам и раю не надо. Оттоль никто не приходил, с роду-родясь. Поди, ничего и нет там, как по-твоему?

Черга. Бывшее дачное, ныне опальное село. Все в горах, зеленых, лесистых.

Крестьяне скучают по дачникам:

— Это она все наделала, барыня одна из Томскова, дохтурша. Дачу здесь выстроила, а дачу-то ее позалонись сожгли какие-то варнаки. Она и разобиделась, да и стала наговаривать на Чергу: и воздух-то здесь тяжелый, и назмуну-то много. Так всех и отвадила. А промежду прочим, у нас воздух подходящий: эн мы каки все икряные. — Так никто и не приезжает к вам?

— Вот второе лето никого нет.

Подымаюсь на гору по откосу речки Черги. Навстречу старик идет, две четверти водки несет.

— Это кому, дедушка, зелье-то несешь? Себя, что ли, травить хочешь?

— Нет. А это Степан Назарыч в компанстве гуляет, второй день пьют. Ну-к, ему.

В Черге последняя монополька. Дальше нет. Возле нее уйма народу, как утром в городе, стоят длинным хвостом.

— Это почему такая бойкая торговля?

— А ишь, скоро троица. Вот и быются хрещенные, как у улья пчелы.

Едем дальше. При дороге оседланный конь стоит, а возле него, на луговине, что-то блестит шарообразное. Это оказывается — плешивая голова старого дедушки на солнце играет. Лежит старик на траве, сладко спит, и бутылка торчит из кармана.

— Пусть его спит со Христом, — говорит ямщик, молодой, ласковый бородатый дядя, — это наш муютинский. Все горюет, сердяга: старуха у него померла недавно. Вот и остался он один, как перст. С горя пить начал. А вином нешто горе зальешь? Я его вчера из речки вытащил пьяного, чуть не захлебался. Опоздай я малость — утонул бы. Ехал из Черги, за водкой ездил, да дорогой-то все и пробовал, а как стал брод переезжать, и чебурахнулся в воду: видно, спал на коне-то. Горы вы, горы Алтайские! Кто разукрасил вас цветами и травами в ваш весенний медовый месяц май!

Зеленые, зеленые крутые горы. Скалы выступают, шершавые. Одна, другая терраса перед горами. А в ущельях, среди зеленых кустов, разбросаны розовые букеты маральника. Вот они окружили, как школьники любимую учительницу, как дети мать, только что зазеленевшую молодую лиственницу; там унизали подножие скатившегося с кручи обломка скалы; там розовой дорожкой стегнули к самому верху сопки. Нет, это не человек украсил розами склоны гор и их лесистые ущелья. А бордюры желтой акации, а бутоны огоньков, синие ирисы, марьины коренья?

Не белый ли ангел по зорям утренним слетает с белых вершин снегов в долины и рукою райского украшает склоны гор?

В кустах боярки и акации, среди зарослей тальника и черемухи, что кудрявой стеной встали по берегам речек, звоном звенит птичья многоголосная песня. И откуда их столько набралось, этих порхающих цветов Алтая?

А на полях, в густых, горных травах, ютится во множестве прелестный голосистый жаворонок. Что за милая, радующая душу птичка: вьется и вьется над своим гнездом, над желторотыми птенцами своими, и все поет, и все поет, и молится, и плачет. Святая птица, безгрешная. Нет ни к чему в ее сердце зла, одна любовь, один гимн радости бытия, один восторг. Безгрешное творенье, солнцево дитя.

Село Муюта. Тут «Русь» помаленьку кончается и начинается царство инородцев, «орды».

Если вы где-нибудь в Онгудае или Кош-Агаче, за сотни верст отсюда, спросите:

— А где бы мне сухарей заказать? А где бы мне достать рабочих лошадей, купить картошки?

Вам ответ:

— Это надо «в Руси» покупать, в Алтайском, например. Вы невольно улыбаетесь и спрашиваете:

— А здесь что же?

— Здесь орда. Тут этого такого ничего не найдешь, чтобы, например, зелени али овощу. Ну, ладно. Заглянем в «орду».

III. Предверия Орды

Муюта — большое селение, наполовину русское, наполовину теленгистское. Есть церковь. Почти все инородцы крещеные. Они очень религиозны. В аилах, разбросанных в ущельях гор и долинах горных рек, еще много некрещеных.

Большинство их исповедуют новую веру, бурханизм, введенную лет восемь тому назад знаменитым Чотом из Карлыка. А староверов, шаманистов, осталось не так много.

Я еще не успел как следует ознакомиться с особенностями бурханизма, не чистого, конечно, бурханизма, имеющего за собою тысячелетнюю давность и философскую догму, а бурханизма особого, чисто алтайского, приноровленного к пониманию новообращенных инородцев. Да сам апостол Чот, действующий под внушением лам, кроме силы воли и широкого размаха темной, непросвещенной мысли, ничем иным не отличается. Он, кажется, безграмотен. А потому и новая вера получилась какая-то странная, особая, алтайская, своя. В ней, поскольку мне удалось выяснить из расспросов, старый шаманствующий культ переплелся и перепутался как попало с чистым ламаизмом. Но так ли, иначе ли, а в основу новой веры все-таки положен принцип единобожия.

Под влиянием ламаизма изменились внешние формы отношений.

Например, прежде, при встречах, инородцы приветствовали друг друга:

— Эзэнь! Эзэнь! Теперь приветствуют:

— Якши! Якши (джакши)!

В огонь плевать нельзя. Огонь — нечто священное. Кровавые жертвы (камлание, убой лошадей и т. д.) отменены.

Камы (шаманы) разжалованы, бубны и костюмы камов сожжены. Пьянство и курение табаку не одобряется (хотя процветает по-прежнему). Жертва богу — вместо крови животных — молоко, которым брызгают в огонь. Возле чумов (юрт) белые березки натканы, на них белые лоскутки ситцу. Вместо меховых, сплюснутых с боков, огромных шапок носят легкие тулейки с большими разноцветными кистями. Это все внешняя сторона. С внутренним содержанием новой веры я не знаком совершенно.

На дворе ямщика, пока лошадей запрягают, сидя на завалинке, веду разговор с пожилым теленгитом.

— Ты Кыркуна знаешь, Григорья?

— Кто такой Кыркын?

— Мой родня, на Аносе, картины делает...

— А-а... Гуркина? Знаю.

— А Потанина-старика знаешь?

— Григория Николаевича?

— Да, я ему сказки сказывал. Он хороший старик, прямо божеский старик, — и теленгит, почмокав губами, спрашивает:

— А где он теперь?

— В кыргызы уехал, — отвечаю, — кыргызские песни списывает.

— Еще все-то трудится?! — воскликнул изумленно теленгит и привскочил с завалинки. — Ох ты, господи. Ха!

Имя Григория Николаевича здесь чтится, по всему тракту известен он, все его знают, все его любят.

«Это наш друг, это лучший человек, пожалуйста, давай ему поклон. Пожалуйста, говори спасибо». Везде, везде, где бы я ни завел речь о Потанине.

В некоторых местах Алтая популярно и имя профессора Сапожникова. Особенно в Катанде, на Урмонском тракте.

Один чиновник, бывший в Катанде, мне рассказывал:

— Приезжаю в Катанду. Крестьяне меня окружили, спрашивают: «А что, Василь Василич будет к нам нынче?» — «Какой Василий Василич?» Даже удивились, руками замахали, закричали все враз: «Да как же ты Василь Василича не знаешь?! Да ведь он на Белуху лазил, — и, улыбаясь, продолжают рассказывать: — В прошлом году к нам приехал из Германии немецкий поп, на Белуху подыматься хотел. Мы ему не присоветовали, убьешься, мол, тебе не залезть, а он: а как же Сапожников лазил? А мы: дык то Василь Василич, где ж тебе насупротив Василь Василича, да нечего тебе там и высматривать, а коли любопытно, в книжке прочитай, у Василь Василича все прописано. А тебе нечего там делать. Ты, немец, можешь там калоши потерять». Местная интеллигенция в притрактовых селениях знает и Георгия Гребенщикова и Георгия Вяткина.

IV. Страшный кам

От Муюты до Шебалиной 19 верст. Мой ямщик, сам хозяин, лет 40, рожден от смешанного брака — русской и теленгита.

Задняя тройка все отстает. Хозяин, придерживая первую тройку, кричит работнику:

— У тебя пристяжка не везет, ты ее дери! Ишь, коренник упарился...

Тот ухмыляется. Его скуластое лицо очень добродушное.

Он крещеный калмык. Имя ему — Тит.

Опять трогаемся. Тит вновь отстает. Хозяин кричит!

— Дери!

— Деру... Не лезет... — откликается Тит.

Мы с ямщиком улыбаемся. Да как и не улыбаться; вдруг Тит, — а лицо медно-красное, нос плющаткой, глаза раскосые, щелочками и по-русски говорит плохо. Какой же это Тит?

Ямщик мой говорит. Толкует о том о сем. Колокольчики звенят, шаркунцы брякают.

Останавливаем лошадей, подвязываем колокольчики, чтоб не мешали.

— Камы теперь в щели убрались, по речкам живут, боятся, — говорит ямщик. — Вот недалеко отсюда живут два кама. Одного Мамыром звать, его в Томск возили для показу, а вот другой... О! Тот страшный кам: все узнать может или человека съесть...

— То есть как съесть? Разве он людоед?

— Пошто? Он так изведет, просто человек чахнуть начнет и пропадет, подохнет.

— И часто он съедает?

— Пошто? Никогда не съедает. Он старик справедливый. Вот только раз с ним и было... Тогда, действительно...

— Ну-ка, Расскажи, брат.

— Лет с 30 тому назад это было. Я мальчонкой тогда был. И кам этот молодой был еще. Вот, значит, окрестили его.

— Зачем же он крестился?

— А видишь ли, его батька-то с кем-то подрался пьяный, да в драке-то голову прошиб другому, вот его и засудили в тюрьму. А орда тюрьмы знаешь как боится? Ужаси. Ему и говорят, ежели окрестишься с семьей, тогда простим. Ну, он и решил, значит. Вот, значит, так кам и окрестился. Потом слух пошел, что он камлать продолжает. А в-то время священник строгий был в Муюте. Надо, говорит, его проучить. Заманили его, значит, кама, в деревню, силом притащили. А как

вытащили на обрыв, на горку, он им и говорит: «Мне только вас жалко, а то обернулся бы медведем и улетел бы». Ну, ладно. Привели его в Муюту, а уж вечер. Он и говорит попу: «Батюшка, ты меня бить не вели. Это же верно. Ну, только что я камлаю, не могу бросить, а то меня шайтан давит, мне тяжело. Я грешный, ну, я за это сам и отвечу. А бить меня не приказывай». Однако его стали бить.

— Кто? Русские?

— Русские. А инородцы жалели. Русский злой, зверь. Инородец жалостливый. Повели его по улице. Велели в бубен бить. Потом опять лупить начали... «За что меня бьете? Кому я худо какое сделал?» Заплакал. Мы тоже, которые инородцы, заплакали.

Помолчал ямщик Лошади шли в гору шагом.

— Потом как загрозились. Говорит мужикам: «Вот и году не пройдет, У одного из вас отелится корова, а теленок, пестренький, пропадет. Тогда вспомните меня». Ушел кам. И верно. Как сказал, так все и случилось. Родился теленок, пропал. А кам две семьи съел, которые били. Так один за другим и стали валиться. Обе семьи вымерли, с детьми и стариками. Начисто. А третий мужик, из третьей семьи, был догадливый, хитрый. Купил четверть водки и пошел к каму с повинной. Просил его. На земской-то, может, видел мужика? Ну так это он самый.

— Что ж, он и теперь камлает?

— Камлает. Ему нельзя без этого. Его тогда шайтаны задушат. Их много. Они работы себе требуют. Этот кам самый настоящий, страшный. Его весь Алтай боится. А зла он никому не делает. Все узнает. Болезнь прогоняет.

Ямщик вытащил из-за голенища длинную монгольскую трубку, закурил.

— И вот с тех пор, уж сколько лет прошло, как кому умереть в Муюте, ночью по улице одной, по переулку бубен стучит. Так и идет, сам собой трясает, бубенцы звенят, а бубен: ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Грохочет, а никого нет. Просто страх. Потом тише, тише, так в горы и уйдет. Опять крикнул Титу:

— Дери пристяжку-то!

— Деру, не лезет.

— Ну, выпряги ее да привяжи сзади.

V. Шебалина – Топучая

Местность все приподнимается. Дорога, то выбегая на увалы, то спускаясь с них, постепенно, но настойчиво ползет вверх. Шебалина без малого на версту приподнята над уровнем моря. Здесь только начало весны.

Горы стоят бурые. Еще спят сверху травы, недавно снег сошел. Лишь подолы гор да южные их склоны зеленеют молодой травой. Кой-где маральник начинает раскрывать свои розовые бутоны.

Шебалина — значительное торговое село. Несколько лавок есть. Имеются маральники — сады для маралов.

По всему Чуйскому тракту только в двух пунктах встречаются маральники: в Муюте и Шебалиной.

В последней — большой маральник у местного жителя Попова. Около 500 маралов. Маральник занимает огромную площадь, около сотни десятин. Высокой, из толстых жердей изгородью охвачена зеленая луговина, часть лесистой скалы и один из рукавов речки Семы. Маралы бродят по зеленой траве непуганые, подпускают близко. Самки с маленькими маральятами скрываются за горой, в зарослях леса. Там они будут расти, а как окрепнут, самки приведут их в стадо. Любо маралам топтать шелковую зелень. Но скоро и для них наступит время великого переполоха и скорби. К петровкам начнут им отпиливать молодые, еще не отвердевшие рога. Верхами на лошадях, с гиком и свистом, станут носиться всадники между скалой и изгородью — по лужайке, будут загонять перепуганных маралов в узкий, тесный коридор. А там ямы. Провалится марал в яму, только голова виднеется. Тут ему и крышка, прощай рога!

— Неужели они не могут перескочить заплота?

— Нет, не могут, высоко. Как-то был же случай, перемахнул один. Искали, искали, нет нигде.

А он, как перебежал речку, да вместо того, чтоб на волю удариться, взял вот в этот, видишь в лесу, маральник заскочил, в чужой, к чужим маралам.

Маралы ценились по 70 и даже по 100 рублей. Теперь спрос на рога прекратился и цена на марала упала до 50 — 30 рублей.

Дорога к деревне Топучей после недавно стаявших снегов и весенних дождей — ужасна.

Местами — сплошные топи. Лошади, везущие груз в Кош-Агач, в Монголию, из сил выбиваются, ямщики надрываются от ругани, всячески понося и лошадей, и дорогу, и свою судьбу, и кладь, которую везут, и купца, давшего эту кладь. Тысячи людей идут косогором, направляются в обход дороге, наваливают воза, увечат лошадей, увечатся сами. Косогоры все размыты и заболочены массой ключей, дорога не проездна, сплошная топь, где хочешь, там и поезжай. При въезде в самую деревню два воза в грязи стоят. Так загрязли, что и колес не видать. Валяются дуги, сломанные оси и колеса.

— Топучая, так она Топучая и есть. Чтобы ей в тартарары провалиться.

— Да, дорожка убойная.

Перед деревней дорога идет вдоль каменистой, в обрывах, горы. По горе тропинка вьется меж камней. По тропинке баба тащится. На руках у бабы рыжий теленок. За бабой — корова и впереди корова. Передняя останавливается, мычит, теленка нюхает, бабе ходу не дает; та кричит на нее: «ксы!», ногой пинает. А теленок грузный, бабе тяжело. Поставит его на тропинку да с боков придерживает растопыренными руками: как бы в пропасть не упал. И все это на большой высоте. А как поставит, корова подойдет, мычит, таращится и бабу лижет, того гляди, толкнет вниз. Баба опять: «ксы, холера!», теленка на плечо, шагов 10 пройдет, нет, грузно.

Оказывается, корова ночью на самой вершине горы отелилась. Баба с утра его оттуда тащит, а домой притащит, когда будет ночь.

Много ямщиков ехало. Все видели, смеялись. Никто не помог. Да, спасибо, калмык верхом проезжал. Остановился, пособил с горы спуститься бабе, перекинул теленка через седло и отвез в избу к чужой ему, русской бабе.

Та рада, вся мокрая, вся истомленная, говорит русским ямщикам:

— Вот спасибо Чолтушу. Ух, умаялась. Они вот все такие, все алтайцы, даром что которые нехристи. Ежели, к примеру, лошадь потеряется, ты только попроси его, любого, чайком попой да сухариков пообещай с фунтик — бесприменно найдет... Чего говорить, народ смиренный. Небольшая деревня Топучая торчит в расширившейся здесь долине речки Семы, вблизи ее истоков. Дно долины болотистое. Высота над уровнем моря 1 верста с лишком. Деревня существует лет 30. Хлебопашеством стали заниматься 4 года тому назад. Посеяли. Как раз год выдался исключительный, сильные жары были. Уродился хороший хлеб. Инею раннего тоже не было. Сняли урожай добрый.

— Ну, знамо, это взманило всех, — говорит хозяин земской. — Начали разрабатывать. Я даже жнейку купил. А на второй и третий год все гибло от разных холодов. Так и побросали теперь многие. Что ж, я в прошлом году на 70 рублей семян засеял, а в обрат получил рублей на 10... Так кого тут... Эвона в прошлом году в самый ильин день, это в июле-то, когда самые жары живут, у нас снег в четверть выпал да двое суток и пролежал. Такой холодина завернул, что страсть. Ну, все и померзло сразу. Которые еще пашут. Вот и нынче запахивали. А погляди-ка полосы-то. На фоминой сеяли, а сегодня 20 мая, а ты погляди, хлеб еще только всходить зачал, вот этакенький, едва видать. Кого тут...

— Чем же вы кормитесь?

— Мы ямщиками живы. Ямщика мимо нас прет, как саранчи. Грузов-то ведь эвона сколько идёт, большие тысячи. Ну, а ямщику что надо? Ямщику надо сена. Вот мы сено и заготавливаем. Пудов с пятьсот заготовишь да зимой по целковому пуд и продаешь. Кое место орехи, кое место рыбешка али охота, тоже вроде промысла, А то и сами в извоз отправляемся. Вот и пробиваемся,

— Откуда переселились сюда?

— А из разных мест, кто из Алтайского, кто из Смоленского, из Муюты, из Бийска,

— Что же вас тащило сюда?

— Да будто полагали, что приволья больше здесь.

VI. Усмирители

Я ночевал в Топучей. Вечером за самоваром сидела большая компания: два приезжих купца, фельдшер, ямщики, хозяин земской. О всякой всячине разговаривали. Между прочим, кто-то речь завел о том, как Чот новую веру вводил.

Купец говорит:

— Ведь он раньше-то простым пастухом был. Да что-то не поладил со своими и ушел в Монголию. Там сколько лет по ихним монастырям шатался. Потом опять пришел. Да и стал новую веру пушать. Эвона как взбаламутил всех. Тут его и усмирили.

Один из крестьян сказал:

— Я его тоже усмирял.

— Ну-ка, дядя, расскажи.

— Да чего рассказывать-то? Так... одна прокламация только. Сбили это, значит, народу по волостям подходяще, чтобы, значит, на Кырлык идти где они орудовали, инородцы-то.

На полу, в кути, выпивший маляр лежал. Он идет по тракту малярной работы искать. А тут вот он отдыхать хочет, «с устатку дернул», лежит. Он. слушал внимательно, что-то бормотал и улыбался, потом крикнул;

— А вы инородцев били? Грабители?!

— Нет, мы не били. Она сами разбежались.

— Толку-у-й слепой с подлекарем.

— Нет, правду, А которые не хотели уходить волей, тех арестовали, да в Бийск. И вместе с Чот Челпановым. Некоторые алтайцы к нам обращались: «Чего же делать-то, — спрашивали, — у нас дома сено, работа... А мы все побросали: баб, детей, скот. Нам домой надо, а нас держат, свои же не пускают, лозами дерут. Говорят, что зимы не будет, денег не надо держать, ничего не надо, снегу не будет, все будет зелено»,

— Толку-уй...

— А там двое суток жил. Наших человек сто собралось...

— Врешь, в пятьсот не уложишь, — кричит маляр.

— Ну пусть по-твоему. Говорили, что девочка Чота, дочь, быдто их бог, быдто она то ребенком оказывает, то стариком, луну показывает, солнце. Мы там две ночи ночевали, а не видали ничего.

Торговый прервал рассказчика:

— Я о ту пору в Онгудае жил. Как началась эта Кутерьма-то, как начали по волости ездить, да народ повешать, все мужики, наши перепугались. Думали, что и будет. Думали, многие тысячи орды валит с войной. Думали, всем карачун будет. Вовсе даже зря весь шум подняли. Только народ перепугали. Какая может быть опасность от алтайцев, да разве они могут кому обиду причинить. Так, одно пустое мечтание, одна неосновательность. Ха! Бунт... Сообразили, додумались... Ну, мужики, знамо, перетрусили у нас в Онгудае, в таможеню бросились, к управителю. Тот, конечно, человек образованный, успокоил. А то, было, ополоумели все. Ей-бог.

— То-то и оно-то, — откликается маляр.

— Вот шесты у них да веточки березовые привязаны, это видели, — опять начинают крестьяне. — Чот им все прекратил, все камлание, бубны все велел пожечь, одежду ихнюю. А как вернулись к себе, это алтайцы-то, ото всего отречься, отказываться, значит, начали. Кто торговал, бросил все: «бери!» Ну, другие, которые из нашего брата, из крестьян, попользовались, это правда. Все гребли себе. Ну, только что не силой, а с согласия.

— Ах вы, хамы! — рявкнул маляр и плюнул.

VII. Семинский перевал – Кеньга

От Топучей начинается пологий подъем на Семинский хребет. Подъем около девяти верст. Он идет по лесистому месту и выводит на небольшую безлесую площадку. С нее открывается великолепный вид на синеющие впереди малые хребты. Перед этим все лесом едешь, ничего не видать, а лишь вырвешься на простор, на вершину перевала, все вдруг пеленой снеговых хребтов всколыхнется и остановится.

Девятиверстный спуск приводит к жилищу ямщика, к станции Песчаной. Далее следует еще подъем, перевал через так называемое Каменное седло и спуск к озеру, лежащему на широкой луговой равнине, окруженной безлесыми хребтами.

Озеро небольшое, версты четыре в окружности, тихое, голубое. Лодчонка у берега стоит, белая палатка чья-то виднеется: хозяин промышляет рыбу.

У калмыков про озеро множество легенд. На дне этого озера большой волшебник живет — Морская корова.

Эта корова зла никому не делает, а пугать пугает. Как осень установится, льдом скует воду, корова начинает реветь страшным ревом.

Трудно тогда на озере жить.

Ночи темные-темные, ветер по степи рыскает, из ущелья в ущелье носится и воет адским своим воем Морская корова.

— Мы примету сделали, — говорит калмык, — ежели озеро шибко стонет, год для скота будет легкий, корма хорошие будут. Ежели озеро молчит — трудный.

Русские крестьяне говорят:

— Какая там корова, одни враки. А оттого оно и стонет, что воздух снизу выходит, из воды подымается, лед разрывает да в щель-то и идет снизу, вот и воет. Это верно, что с непривычки, мурашки по спине ползут.

Чудо про озеро рассказывают калмыки и русские.

На озере нет дна. Как-то мерили, веревок не хватило. А в глубине будто бы вода винтом ходит.

Пригнал калмык диких своих коней к озеру. Поймал двух, связал их вместе, чтоб те не разбежались, чтоб удобнее было вновь поймать, связал и опять отпустил на волю.

А те перепугались да в озеро. А озеро глубокое, захватило их винтом, на дно утянуло. Погибли лошади. За хребтом, верстах в пятидесяти отсюда, есть другое озеро — Елбань. И вот в этом озере месяц спустя и нашли трупы двух погибших связанных вместе лошадей. Неужели оба эти озера сообщаются?

Спустившись в приозерную степь, дорога становится ровной, плотной, словно асфальтной.

Утомленные кони вдруг оживают, закусывают удила и несут нас вперед к небольшому селенью Кеньге, столице калмыцкого царства.

VIII. Калмыки

При въезде в Кеньгу стоит большой двухэтажный дом с амбарами на широком дворе — усадьба знатного калмыка Аргамая Кульджича Кульджина. Она особняком стоит. За ней луговина, вся уставленная коническими, крытыми корьем чумами, а дальше — церковь, инородное управление, каталажка, школа, земская и два-три дома.

За чашкой калмыцкого чая, сваренного с молоком, солью и талканом, веду беседу с Аргамаем Кульджичем. Он человек начитанный, богатый, предприимчивый. Не раз бывал в Питера.

Он владеет огромными табунами лошадей. Он желал бы поставлять для сибирских частей русской армии особой породы лошадь, выносливую в горных переездах, приспособленную к суровым зимам. Для этого ему нужны хорошие производители из главного коннозаводства и 20000 десятин земли. Производителей ему дали, в земле же он получил полный отказ.

— Поеду в Питер хлопотать, — говорит он, посматривая на меня умными, с огоньком глазами — Ежели откажут на Алтае дать, по Иртышу просить буду. Ежели и там не дадут, весь скот за границу угоню, в Монголии жить буду, либо все брошу, закончу, стану без дела жить.

Но разве такая натура, как Аргамай, может бездельничать. Он и скотоводством занимается, и землю пашет, и торговлю ведет. Рахманинские горячие ключи хотел ведь под свою руку взять, курорт там устроить. Конечно, следовало бы поощрить такого предприимчивого калмыка. Тем более, что дело улучшения породы алтайских лошадей — дело значительной государственной важности.

— Ну, как живут наши калмыки?

— Житье наше плохое. Кабинет обвел нас межой, лишил простора. Жить стало трудно. Нашему народу надо много земли — у нас скота много. Скот от бескормицы падает. Падет скот — вымрут

калмыки. Надо нас жалеть. Мы со своей землей пришли в верноподданство, мы не с голыми руками пришли. Нас не воевали, сами пришли. Нас монголы да Китай обижали. Мы стали просить у русских защиты. Нам казачью линию поставили, охранять начали, а на землю выдали бумагу, грамоту. А грамоту мы затеряли.

Помолчали. На полу сидели калмыки. Один старик ввязался в разговор:

— Шибко худой жизнь. Кониная колол, корова колол, себе-та надота. Чего да нету? Чай да нету, мука да нету. А надо. Баран колол. Все пропал чиста.

И он часто замигал своими узкими глазами и отвернулся.

Аргамай сказал:

— Житье наше. неважное. Первая причина — калмык не умеет сено заготавливать, скотина на подножном корму ходит. Вот в прошлом году глубокий снег выпал в нашей бесснежной равнине, скота погибло больше тысячи. Половину скота убавило. А у других весь скот пал. Вторая причина — леса не дают, коры драть нельзя, а скоту необходим теплый хлев: в долине большие ветры живут, лес обязательно надо калмыку, а запретили брать. Третья, самая главная, — скотогоны десятки тысяч скота гоняют по нашей земле из Монголии. Мало ли сколько кормов съедят, сколько травы стопчут. Да еще иной раз скотина хвоя идет, вредную слюну оставляет на траве. Наша заражается. От этого — повальный падеж. Нонче у нас, в прошлом году в Топучей, да каждый год. Надо другой путь избрать для прогона. Хотя бы на Катунь. Там и скота меньше и земли больше. Это можно доказать цифрами.

Аргамай вдруг улыбнулся.

— Что?

— Да тут смешное вышло. Когда Чот вводил веру, он запретил на пять лет лес рубить. Это глупо. А тут вскоре и от лесничего запрещение на лес вышло. Получилось смешное совпадение, калмыки ведь знали: «Начальство то разгоняет нас, то по нашей вере, то по новой поступает, ничего не разберешь».

Я говорю Аргамая:

— Ну, а что, если б правительство всем кенгыгинским калмыкам дало бы общую площадь земли и сказало бы: «Вот вам земля, как хотите, так и устраивайтесь». То же самое и катунским калмыкам.

— Это было бы очень хорошо.

IX. Беседа с зайсаном

В дальнейшем пути я встретил калмыцкого зайсана. Он был выпивши, и, так как земская была занята военными, топографами, он расположился со своим адъютантом под навесом амбара на мягких кошмах и подушках. Он был жирный, с узкими заплывшими глазками, с косичкой на бритой голове. Когда я подошел к нему и поздоровался, он тяжело поднялся с своего ложа, часто закивал головой, сделал по-военному под козырек (хотя был без шапки) и крикнул адъютанту, чтоб тот скорее обул его. И никак я не мог убедить его, что можно великолепно разговаривать и разувшись.

— Нельзя, нельзя, нельзя, — скороговоркой проговорил зайсан и дал адъютанту легкий подзатыльник.

И вот мы, сидя друг против друга на кошме, стали беседовать. Человек пять русских подошло. Меня разбирал смех, когда девятипудовый зайсан при каждой фразе прикладывал по-военному руку к бритой без шапки голове и всякий раз извинялся, что он выпивши:

— Извините, извините, извините.

— Вы мне, пожалуйста, не козыряйте, я человек простой.

— Нельзя, нельзя, нельзя... Таштан! — крикнул он адъютанту и сделал жест рукой сверху вниз.

Адъютант вскакивает, делает по направлению ко мне шаг и плутовато, с улыбкой косясь на своего господина, смешно раскорячивает ноги и кланяется мне в землю.

— Проси, проси, проси! — приказывает зайсан, опять делая под козырек и кивая головой.

Адъютант, растерянно улыбаясь, сюсюкает:

— Проси, проси, проси...

Я заливаюсь хохотом, угощаю зайсана и адъютанта папироской, все улыбаются: и зайсан, и адъютант, и ямщики, и мы, наконец, заключаем условие разговаривать попросту. Зайсан положил мне руку на плечо и, указывая крючковатым пальцем на заречную гору, заговорил:

— Вот эту гору видишь? Что в ней есть? Пастбище есть? Один камень. Как жить, чем скот кормить? Тыща десятин в ней. Нам дали. Чего на ней есть?

Крестьяне поддакивают:

— Тут какое угодье. Самый камень. Вот теперь вид у горы зеленый: это дождички шли нынче, трава и позеленела. Да вот уже жары пойдут — вся счахнет. Иной раз живет весна жаркая, так все лето и стоит этот подол красным, головой все побуреет.

— Так где ж скот-то пасут?

— Да вот по логам и бьется. Еще есть у них землишка. Та под пашню. Тоже немного.

— Раньше лучше было?

Зайсан отвечает:

— Известно, лучше. Раньше — куда хочешь гони скотину, запрету не было, вся земля была наша. А теперь одним обществам хорошие куски попали, другим худые. Раньше равнение было. Кто на плохом корму — в хороший гнал, к соседям. Те не препятствовали. Лучше было бы всему нашему народу сообща отмежевать сколько есть нашей земли.

И вдруг, схватив мою руку и припав к ней потным своим широким лбом, зайсан заговорил:

— Пиши, пожалуйста, в газету, пожалуйста, пиши Таштан!..

Я изумился. Наконец-то наконец, и темный калмык уверовал в силу печатного слова.

Выслушали мы мнение по земельному вопросу людей богатых и власть имущих, так сказать, местных феодалов, воля которых для своего народа — закон, его же не преЙдоши, и капитал которых так же беспощадно и неотразимо в бараний рог гнет бедноту, как и толстая мошна любого нашего истинно русского Колупаева.

Надо выслушать и мнение другой стороны.

Х. «Особое мнение»

С «другой стороной» я на днях встретился в Улале. «Другая сторона» — видный кабинетский агент, бывший земский статистик. Он говорит:

— Внутринадельное размежевание калмыцких земель имеет положительные и отрицательные стороны. Но положительных больше. У зайсанов огромная власть. Зайсан имеет полное право пустить на землю его рода за деньги, за водку русских переселенцев. Примеров таких сколько угодно. Таким образом, инородческая земля расхищалась за счет обогащения одного лица, зайсана. С наделами это исчезает. Прежде зайсан, или вообще богач, не довольствуясь своим пастбищем, своей долиной, беспрепятственно гнал свой скот в любое, не принадлежащее ему пастбище. И пострадавший от потравы не смел пикнуть: богач сживет его со свету. Теперь этого не может быть. И понятно, почему богачи всячески противятся введению новых порядков.

— А позвольте вас спросить, почему на днях калмыки на верховьях речки Песчаной отказали землемеру давать рабочих, потребных для размежевания? И когда из Барнаула распорядились нанимать в счет калмыков рабочих со стороны, калмыки, наконец, согласились?

— Этого я не слыхал.

— А я, извините, слышал.

— По всей вероятности, это произошло опять-таки под давлением богачей.

— Вы думаете?

— Я в этом уверен. Ну, так вот. Теперь дальше. По Чуйскому тракту калмыкам земли досталось мало. Но где же ее взять. Ведь вы сами видели, какой ничтожный фонд удобной земли в тех местах. Но поверьте мне, что Кабинет все отдал, что мог. Вот не угодно ли взглянуть на карту. —

И с этими, словами он вытащил огромную, с с двуспальную простыню, карту:

— Все, что осталось у Кабинета, закрашено синей краской. Вот видите, какие ничтожные остались клочки. И они представляют собою голые, никому не нужные скалы. Вся земля, ушедшая в надел, передана Кабинетом казне. Казна будет выплачивать Кабинету за каждую десятину по 22 копейки

в продолжение 19 лет, конечно, взяв эти деньги с новых владельцев, затем следующие 19 лет на тех же основаниях население будет выкупать у казны землю в собственность.

— А какие ж отрицательные стороны вы заметили в нарезке калмыкам земли?

— Вы знакомы с укладом калмыцкой жизни?

— Отчасти.

— Раньше, до последних дней, калмык зимовал в одном месте, а на летовку угонял скот в другое место, куда-нибудь в лог, в долину речки. Калмык говорил: «Я не дурак, чтобы делать, как русские: те накосят сено за пять, за десять верст, да и возят домой целую зиму. Я лучше скот угоню к сену». Теперь же этого сделать нельзя. Та долина, тот луг, куда он и его предки из года в год летовали, отошли другому обществу. Раз. Далее, калмык женил трех сыновей. Каждый из них расположился в хорошем месте, где есть вода, где достаточно луговых пастбищ. Отец гонит скот на летовку к сыну, брат к брату, сын к отцу, смотря по тому, где лучше, и соразмеряясь с числом голов скота. И в таких случаях приходилось гнать табуны за 30 и 40 верст и по чужим пастбищам, которые, строго говоря, чужими не были, были общие калмыцкие. И никто этим не возмущался, потому что вчера Мамыр прогнал свои стада чрез пастбища Короси, а завтра Короси погонит чрез луга Мамыра. Теперь же этого сделать нельзя. Два. Словом, это правильно, что в данное время происходит полная ломка всему укладу инородческой жизни. Конечно, все это ставит калмыка в тупик. Но поверьте, что некоторые из них начинают, присмотревшись да подумавши, понимать и благотворность новых порядков. Беднота начинает понимать.

В каждом нашем отряде несколько переводчиков калмыков. Мы тайно посылали их узнавать мнения бедноты И кто из бедноты посмышленей — довольны. Они только все еще плохо усваивают, как это вдруг земля стала его, что никто не посмет, ни Аргамай, ни Манчжи, забраться на его землю со стадами И вот как-то является калмык и начинает просить топографа объяснить ему, что значит выражение «его земля, собственная». Тот ему объясняет. «Но ведь Манчжи может пригнать ко Мне свой скот?» — «Нет, не может. Если его скот зайдет, ты взыщешь с него за потраву» — «Как я могу взыскать с быков? Что толкуешь... Если б сам Манчжи пришел и стал есть мою траву, с него можно взыскать. А чего возьмешь с быка? Бык ничего не заплатит» — «Манчжи заплатит». — «Как смею я с него просить. Я ему должен. Он осердится, муки не даст».

— Не знаю, не знаю, — сказал я, — но многие жалуются, что мало земли, что негде скоту пастись...

— А где ж ее взять, если нету. Вот недавно на Песчаной, которую вы упомянули, кержаки землю нарезали. Тем значительно меньше, чем калмыкам. Кержаки бунт подняли. Доходило дело до властей. «Нам все одно здесь не жить Уйдем. Всю землю орде роздали».

Здесь я приведу свой разговор с крестьянином села Онгудая Черепановым, бывшим переводчиком при топографе, работавшем на Песчаной.

— Кержаки, они нагрыжливы. С краю-то, как населились, вовсе утесняли калмыков. Зайдут в аил да как хозяева и командуют: скот режут, калмыков бьют, всячески изгиляют. Ежели возле аила хорошая земля, начинают ее пахать безо всякого. Пашут да и все. А земля чужая, калмыцкая Калмыки, знамо, народ смирный, поплачут да в другое перекочуют место. Аилишко оставят. Кержаки все сожгут. Недавно коня застрелили калмыцкого да в лес заташили, завалили чащей. Всячески выживают. За это, за упорство за ихнее, им мало земли дали. А калмыкам больше и лучше. Они все-таки в этой местности хозяева.

XI. Еще о Чоте Челпанове

Встретил я господина, который видел Чота и говорил с ним.

Вот его рассказ:

— Нас было трое. Мы в тех местах, где Чот, работы от Кабинета производили. Мы знали, что Чота трудно увидеть, он уклоняется от всяческих, встреч. Остановились вблизи его юрты, посылаем человека: «Зови хоть обманом, хоть как, только достань его». Пришел Чот. Стали его угощать, стали чрез переводчика расспрашивать. Он высокий, сильный, малоподвижный, самый обыкновенный, даже в глазах нет ничего особенного.

— Как ты вводил веру свою?

— Дочь моя бродила по лесам. Дочь моя встретила на белом коне белого всадника. Белый всадник сказал ей: «Объяви народу, пусть бросят камлать, пусть свою прежнюю веру найдут, пусть вереек жгут, молоко приносят в жертву, прогонят камов». Дочь испугалась, мне передала. Я испугался. Я стал искать белого всадника, но не мог найти. А народ услышал про это, начал собираться в нашей юрте. И вот я встретил белого на белом коне всадника. «Я царь мира, Ойрот, которого вы ждете». И повторил то, что сказал дочери. Я вернулся к своим и стал насмехаться над камами, стал говорить, что они мошенники, обманщики, что они служат злему духу, а забыли Духа доброго, того, кому поклонялись раньше. Тогда все испугались, ожидая, что вот явится сам Эрлик и всех пожрет. Но ничего не случилось. Тогда я начал устраивать новую веру, ту самую, которая была у нас, но которую мы забыли,

— Какая же основа вашей веры?

Чот оживляется, передает переводчику;

— Солнце, луна, земля, вода, огонь — одно. Одно божество. Все — одно. Один Бог, один Бурхан.

Переводчик говорит:

— Солнце, луна, земля, вода и огонь — все равно. Что луна, что вода — все равно.

Чот, уловив грубую неточность перевода, сверкая глазами и крутя рукой, кричит:

— Одно, одно! Одно! А не равно!!

Мы кивнули головой, и он успокоился.

— Ты говоришь: новая твоя вера — это прежняя, забытая, вера ваших предков. Как народ мог забыть веру свою, как мог пренебречь добрым духом, а молиться лишь духу злему?

— Народ раньше молился только доброму духу. Но добрый дух милостивый, он не взыщет, если иной раз ему и не помолиться. А злой дух всегда возле человека, он рад проглотить душу человеческую, рад зацапать ее, поразить болезнью. Вот человек и стал упрашивать злого духа: «Пожалуйста, не тронь; чего хочешь возьми, только отступись. Мы тебе кровавую жертву принесем, мы тебя славить будем». Так это поклонение черту и усилилось, а доброго духа народ забыл. Этому помогли камы.

— Расскажите что-нибудь о том, как вас разгромили русские?

Чот долго молчит, потом отвечает:

— Я ничего не помню. Мы мирно молились. Потом пришли русские. Меня ударили. Я больше ничего не помню. Моя душа над землей трепыхалась в то время. Поэтому я все забыл.

— А что означает: мы встречали в долинах дощатые помосты, по углам шесты с шарами и белыми и желтыми лентами?

— Там мы молимся Там наши ярлыкчи, наши вестники поют стихи, которые они слагают.

Рассказчик сообщил мне несколько таких стихов, переведенных одним из священников на русский язык и уже где-то напечатанных.

Вот они:

*Беленький цветочек
Северного места
От любви к Алтаю
Раскрывается
Пятилетний ребенок,
Прославляя Бурхана,
Молится ему.
Сорок две пуговицы
Можешь ли застегнуть враз?
Ученье Бурхана
Можешь ли скоро понять?
Рубящий дом
О четырех углах,
Топор остер
Сорок племен угнетающий
Сердитый русский народ.*

Мы еще о многом хотели расспросить его, но Чот несколько раз, перевирая наши вопросы, спрашивал:

— Где мне найти правду? Научите. Меня разорили то ли русские, то ли свои. Пожгли все, скот угнали, лошадей угнали, все разграбили. Где правда? Кто может заступиться за меня? У кого милости искать?

Возле нас сидели несколько калмыков и благоговейно смотрели на Чота.

Мы спросили. И некстати спросили:

— Скажи, Чот, почему прежде калмыки оказывали тебе всякие почести: с седла снимали, держали стремена, а теперь равнодушны к тебе?

Чот молчит. А калмыки — не понравился им вопрос, застыдились, все враз встали и пошли, будто по делу, кто к коню, седло поправить, кто к речке, воды попить.

Чот ничего не ответил. Только вздохнул.

А калмыки, спрошенные после, когда Чот ушел домой, сказали:

— Хоть новая наша вера лучше старой, но мы видим, что русское начальство недовольно им.

И мы поэтому подозреваем, что в этой вере есть что-то плохое. А что — не знаем. Не можем увидеть. Поэтому боимся открыто оказывать почести Чоту. Боимся, как бы не донесли начальству староверы. И почему начальство не одобряет нашей веры? Ведь она лучше старой?

Рассказчик закончил:

— Я слышал, что где-то сидит на Алтае лама. Кажется, из новообращенных. Лама будто бы говорит: «Это учение — ламаизм, особый, алтайский, временный. Калмыки — дети. С ними надо по-детски поступать. Давать то, что доступно их пониманию. Когда созреют — догма веры расширится и приблизится к истине».

ХII. Русско-калмыцкий той

Той по-калмыцки — свадьба. Хочу рассказать о довольно оригинальной черте местных обычаев, случайно встреченной мною в Кенъге.

Едва я подъехал к земской, как увидел вблизи сборни, на площади, целую толпу калмыков, три курящихся костра, над которыми висели огромные котлы, весело снующих собачонок, похрапывающих на привязи лошадей. Настроение праздничное. Солнечный день.

— Это что? — ямщика спрашиваю.

— Той.

— Калмык, что ли, женился?

— Нет, русский русскую взял. От ямщика земского умыком в жены деваху сбрал. Третьеводнись обвенчались, а теперь вот гуляют, угощают калмыков. Теперь все по-калмыцки пойдет, весь обряд, потому как они среди калмыков живут. Обязаны вроде уважения сделать, без этого нельзя. Вот уж выпьем.

Мой ямщик облизнулся, взглянул в сторону котлов. Я поближе подошел. На траве окровавленная конская шкура лежит, коня хозяин заколол. 45 рублей конь стоил. В двух котлах алтайцам конина варится, в третьем — баранина русским. У костра несколько сельниц-корытец стоит — это тарелки для пиршества. Карлик-калмык, старичишка в длинном балахоне, у котлов топчется. Ножом мясо в котлах ворошит. Лицо у него острое, морщинистое, бороденка хохолком. Ему молодые алтайцы помогают. К баранине верзила-мужик приставлен да ребятишки.

От избы молодых к огнищу, от огнища к земской, от земской к хибарке снует народ, бабы, молодежь — все заняты приготовлением.

На лошадей человек пять ребят усаживают, на бегунцов, без седел, «байга» — бег — будет.

Хозяин выходит, отец жениха, высокий, усы книзу, давно не бритый, улыбчивый, в руках первый приз несет: бутылку водки и розовый шарф. Бегунцы уж за поскотиной, а приз привязан за горлышко к высокому шесту. Потасили приз в поле. «Бегут, бегут!» Все туда бросились.

А собачонки к баранине. Однако карлик, быстро выхватив кол из котла, огрел одну из них вдоль спины. Отскочили псы, сели возле, ждут, не зазеваются ли маленький человек с большим колом. Вот и бегунцы прискакали. Приз достался молодому парню. Взял водку, домой помчался. Народ,

улыбаясь, идет назад.

Один из алтайцев что-то кричал, с жаром жестикулируя и выразительно играя черными глазами, что-то старался доказать стремящейся к огнищу толпе. Хохотал. Ему подсобляли другие.

Он строен и прям, чисто бритый, голова коротко острижена, с проседью волосы, милое, живое, подвижное лицо. Это калмык «каморщик», за каталажкой надсматривает. Ему не нравится, что водку взял себе победитель, водка должна в круг идти, водка ничья, общая. Но его успокаивают: хозяин водки много выставит, запас большой сделан. Тогда он, прищелкнув языком и подмигнув соседу, кричит: «якши!» и вновь раскатывается хохотом.

Молодые тоже в толпе идут обнявшись: он высокий, за шею ее обхватил, она низенькая, в красной кофточке, беленькая, обняла мужа за талию. Идут, ничего не видят, ни бегунцов, ни клубящихся паром котлов; толпа вправо, они влево, толпа у огнища осела, как пчелы у улья жужжат, они в поле, где колосится рожь, где звенит под солнцем песня жаворонка.

Однако их окликает отец:

— Ваня! Съезди с молодой за Аргамаем, зови.

Гости начинают усаживаться у огнища на лугу по большой дуге. В центре бороваобразный, пудов девяти, жирный, весь в черном, бывший зайсан, черный, с опухшими глазами, бронзовый, безбородый, с маленькими усами, пучеглазый. Входит в круг виночерпий. Наливает стакашек, подходит к бывшему зайсану, опускается пред ним на корточки и, подобострастно склонив голову, подает зайсану водку. Взял и немедленно опрокинул в рот, не поморщившись.

Следующий стакан подносится другому калмыку. Тот, взяв стакан, подходит почтительно к бывшему зайсану, опускается на корточки и передает ему, глотая слюни, водку. Толстяк открывает рот и выплескивает туда водку. И так продолжается очень долго. Бывший зайсан сидит смирно, не шевелясь, с застывшим лицом, будто далекий от всего этого, будто занятый другой, посторонней празднику думой, только рука его не устает работать и жадно раскрывается рот.

— Вот пьет так пьет! — удивляется один из стоящих сзади ямщиков.

Другой, сплюнув, говорит:

— А что ему значит, ежели он впился. Ему этот стакашек все одно, что слону дробина.

Последний стакан подносится сидящему с краю бедняку, тот берет, смотрит на стаканчик, будто колеблется — пить ли? Затем, вздохнув, приподнимается и несет другому, в синем бархатном кафтане калмыку. Тот пьет и дает бедняку затянуться в знак дружбы свою трубку. Курит сплевывает и отдает обратно. Это калмыки распили первую четверть. Эта водка их собственная, не хозяйская: по обычному праву, шкура убитого коня принадлежит гостям. они пожелали вернуть ее хозяину за четверть водки.

Котлы вскипели. Вынимают мясо, раскладывают по корытцам. Гости сидят молча. Бывший зайсан начинает икать и мутными глазами впервые обводит лениво толпу. Ждут Аргамая. Но он прислал ответ:

«Я не люблю пьянства и пьяных не люблю, я приду после. Бабу пошлю».

Глядят: от богатого Аргамая дома выступают, неуклюже переваливаясь в нескладных своих сапожищах, три женщины в праздничных бархатных шубах с бархатными сзади крыльями, как у архиерейских певчих, в широких, сплюснутых с боков меховых шапках.

Хозяин русский по-калмыцки командует:

— Отырар ет тиерге! (Садитесь мясо есть!) Все усаживаются по три, по четыре человека у корытцев с мясом. Женщины к огнищу не подходят, а направляются в избу молодых. С ними молодая девушка, Аргамая дочь, в голубой бархатной шубе с лисьим воротом, в круглой расшитой бархатной шапке, лицом бела, румяна, глаза весенними листочками, черные. Сказкой голубой плывет, мягко ступая по зеленому лугу. Вскоре почетные гости вышли из избы и, подойдя к огнищу, уселись в круг. К ним примкнули другие женщины.

Явились молодые. Оба горят, до краев счастьем полны, у него в руках поднос с водкой, у нее — мелко накрошенные на тарелке блины. Гостей обносят, обносят водкой посторонних зрителей.

Выпивают, закусывают, кладут деньги. Хозяин еще три четверти притащил.

— А ты бы в железное ведро вылил: разобьют стекло-то.

Началось великое чавканье и питье.

Языки развязались. Смех у каждого корыта зазвенел. Бывший зайсан, как на каменку, поддает себе в рот водку. Покачиваться начинает и сам с собой бубнить. Старик-карлик с ковшом, насаженным

на палку, от котлов к корытам бегают, бульон в мясо подливает. Понес да калмыку ногу обварил: тот окрысился, при дамах очень отчетливо и смачно по-русски его выругал. Все пьют, чавкают. В одном месте брань. Кричит калмык. Волосы его вперед зачесаны, глаза серые, лицо треугольное желтое. Он кричит и тянется к соседу драться, тот, обороняясь, отползает на четвереньках прочь, а крикун ругается, грозит рукой, и голова его трясется, как у паралитика. И у другого и у третьего котла начинается ссора. Бывший зайсан уж на боку лежит возле другого, в красном камзоле калмыка: сгреб его за камзол и норовит поставить на голову, пятками вверх. Но это ему не удастся, хотя калмык, почтения ради, не сопротивляется и, улыбаясь, смиренно сидит. Зайсан долго возле него примеряется, наконец, рассерженный, отползает прочь и начинает петь и добродушно хохотать.

Я иду лошадей заказать. Но ямщики выпивши:

— Нельзя ли повременить?

Кто-то затаскивает меня в избу, где чай, водка, всевозможные яства. Там много народу: сватья, свояки, тетки, гости. Родных молодой нет: девица сбежала от отца-матери и крадучись повенчалась. В другой половине избы — алтайцы гуляют. Чай пьют.

У стенки молоденькая, с русскими чертами девушка. Только что вошла в избу, села на стул, опустила низко голову и заплакала. Выпивши. Возле нее пучеглазая инородка Верочка. Девушку утешают, конфетку суют в нос, пряничек, но та закрыла лицо руками и заливается горькими.

— О чем она плачет?

— Да мужа боится.

— Разве она замужняя?

— Да. Инородка она. Привыкла свою арачку пить, выпила русской водки и ослабела. Боится, что муж прибьет.

Ко мне в двадцатый раз пристаёт пьяненький, седобородый, румяный сотский. Бог весть как сюда затесавшийся проездом из Катанды.

В двадцатый раз он говорит мне:

— Позвольте рассказать вам свою жизнь. Жизнь моя горькая.

Но сватья в двадцатый раз подхватывает его под руку и уводит выпить.

Выхожу на улицу. Старый подходит алтаец. Он и раньше несколько раз подходил ко мне — подойдет, поклонится, пошепчет что-то и уйдет. Веснушчатый, старый-престарый, с открытой, грязнейшей морщинистой грудью. Он, оказывается, очень беден. Были коровы, пали в голодную зиму. Ничего нет. Никого нет. Сирота.

Русский мне говорит:

— Он хороший старик. Я сам ничего не имею, а ему помогаю. То на табачишко дашь, то на хлеб. Как ему не помочь. Ему надо помочь.

Гляжу, у корыт свалка началась. Вскочат два петуха, махнут кулаками, мимо. Бух оба! Ползают, кричат.

А иные изрядно вцепятся. Разнимают их. У бритого каморщика вид дикий стал. Без рубахи, в одном пиджаке, голое тело, пупок. От кучки к кучке носится, норовит растаскивать дерущихся, каморкой грозит: «Законопачу!» — но тут же, не стерпев, влепляет кому-нибудь хорошего леща, и оба летят кувирком на землю.

Бывший зайсан все рад с себя сбросить. В одних шароварах плавает, едва переставляя ноги. Вид его ужасен. Он до того жирен и обвис телом, что ребятишки бьют в ладоши и кричат: «Баба, баба!..» И последний костюм у зайсана сползает вниз, но услужливая меньшая братия, следующая по его пятам, не дает случиться этому греху.

Драки как следует пошли. Бились кулаками, но больше шумели и падали на луговину. Дрались так, зря: драка освящена обычаем. Плох тот праздник, где не расквасят друг другу носы. Это обида хозяину. Другое дело, если удастся как следует задать друг другу трепку. Тогда калмык будет, проспавшись, радостно говорить:

— Шибко хорошо гулял моя. Глаз подбивал, ребра толоч! — и покажет на фонарь у глаза.

Хорошо, что алтайцы не научились у русских пускать в ход ножи и оглобли.

В красном камзоле калмык, встав на колени, припал лицом к земле, сложил руки ладонями вместе и заунывно воет: то ли плачет, то ли поет песню. К нему на коне старик подъехал, на коня его затащил. Упал калмык.

Старик еще двух покликал. Затащили, как куль, на коня, за ноги держат по бокам, а голова у калмыка чуть не под брюхо лошади свесилась. Старик на седло вскочил, коня тронул, опять калмык грохнулся прямо коню в ноги. Конь умный, не тронул.

Многие калмыки были трезвые.

Спрашиваю писаря:

— Почему бывшему зайсану такой почет?

— Боятся. Они, зайсаны, строго поступают. Где на гулянье привяжет пьяного да непокладистого к дереву и стой. У них власть большая. Однако недолго им осталось. С августа на русское положение переведут, волости будут образованы.

— Зайсанами богатых или умных калмыки выбирают?

— И то и другое. Вот бедный нонче выбран был. Поправляться начал. Они ведь, некоторые, здорово берут со своих. Приедет: «давай!», а то накажет.

Кони готовы: брякают бубенцы, тарыхтят колеса. Наступал вечер. Калмыки разъезжались, выписывая всем туловищем мыслете на прямо и быстро бегущих лошадях. Где-то две гармошки играли. Молодые, плотно обнявшись и пошатываясь, направлялись в вечернее тихое поле.

За чернеющие горы садилось солнце. Сразу потянуло холодом и ароматом горной степи.

Прекрасная молодая калмычка в голубом своем бархатном камзоле, алтайских гор дочь, и раз и другой в мах пролетела на коне. То скроется где-нибудь за склоном горы, то вновь вырвется на долину.

Вихрем носится, голубой сказкой порхает, вся цветущая, как незабудки цветущей цвет.

ХIII. Древние памятники

От Кеньги к Онгудаю дорога идет красивою долиною Урсула. В 17 верстах от Кеньги — деревня Туехта, единственный пункт на всем Чуйском тракте, где скотогон может обстричь своих овец, идущих в Бийск из Монголии. Своего рода овечья парикмахерская. Стрижкой занимаются по преимуществу женщины.

— Иная, которая проворная, может за день до 70 овец обкорнать. Рубля два заработать может. За Туехтой начинают встречаться древние курганы, по местному бугры, остатки прежних жилищ, каменные бабы. Все эти памятники, попадающиеся то здесь, то там вплоть до монгольской границы, свидетельствуют о когда-то живших здесь и ушедших отсюда иных насельниках, седея память о которых сохранилась лишь в местных былинах.

Вот, например, возле Инн есть камень-баба. Это огромная тонкая плита, больше сажени в квадрате, ловко воткнутая торчком в землю. Стоишь возле нее, маленький, и думаешь: «Как мог дикий человек умудриться ее, матушку, трехсотпудовую, притащить сюда, поднять на ребро и врыть в землю?» Но наше недоумение тут же разрешает наш проводник.

Он рассказывает:

— В нетеперешние времена, когда белой березы на свете не было, проезжал этим местом сильный богатырь. Ему нужно было на Чую попасть, а брода он не знал. Поехал без брода, а река глубокая да быстрая: конь чуть не захлебался. Однако выплыл, лишь потник, что у коня под седлом, подмочил. Надо потник высушить. Огляделся богатырь кругом — ни одного деревца, огляделся кругом — ни одного кустика: ровная степь среди гор, потник повесить для просушки не на что. Залез тогда богатырь на гору, выворотил каменище, да как хватит с горы! Как гвоздь камень вторгнулся, на сажень в землю ушел. Вот этот самый и есть. Так старики сказывают.

Искал я на этом камне письмен — нету. Лишь сбоку высечен нож, да еще расписались белилами в своей безграмотности проходившие недавно «братья Климовы».

Кстати надо заметить, что русский человек очень любит увековечить свое имя: все дома, скалы, камни исписаны автографами проезжающих вперемешку с непотребными словами, во что бы то ни стало нацарапать которые так зудится хулиганская рука.

За Туехтой, вблизи реки Талды саженьях в 50 от дороги, две хорошо сохранившиеся каменные бабы с искусно высеченными лицами. Давно бы их необходимо было выкопать и увезти в музей. Не место им здесь. На их каменных носках упражняются в метании камней проходящие возчики груза. До поклонения искусству они не доросли, им мало дано, с них короток и спрос,

но с сибирского общества такое пренебрежение к изваяниям древних — взыщется.

— Скажи мне, друг, — обращаюсь я к калмыку, — что значат эти круглые, неглубокие, заросшие травой и бурьяном ямы, охваченные кольцом из булыг?

Таких ям много. То в одиночку встречаются, то по две, по три. Иногда их целая улица в два поезда.

— Мы не знаем. Говорят, что жилища, юрты живших здесь людей. Вот видишь, много камней столбами стоят — это ихнее кладбище. Видишь, в стороне большой камень стоит — тут богатырь зарыт. Вот и говорят, что в этих ямах жили люди. А сверху у них надстройки из кошмы или коры были. А кругом все было камнями завалено для тепла. Так они и жили. Потом прошел слух, что белое дерево на земле появилось, белая береза. Слух прошел, что вместе с деревом где-то белый царь родился, которому дано их покорить. Они очень испугались. Они сказали: «Пришло время умереть нам добровольно». Сделали над жилищами на деревянных столбах помосты, нагроулили помосты камнями, зашли каждый в свою яму, помолились, распрощались друг с другом и подрубили деревянные столбы. Камни рухнули на них и задавили. Так старики рассказывают.

XIV. Онгудай

Онгудай. Последний культурный до Кош-Агача поселок. Здесь телеграф имеется, есть с живой душой люди, можно встретить относительный уют. Онгудай. Его российские переселенцы часто «Возгудай» зовут. Въедет с своею парусиною кибиткой в самое село, да и спрашивает какую-нибудь всю в кумаче бабу:

— А скоро ль, тетенька, Возгудай будет?

Та хохочет и отвечает ему:

— Не доходя прошедши.

Придорожная трава пыльная, притрактовая баба вольная. Про онгудайскую бабу широко слава идет.

— Онгудайская — охо-хо-о-о...

Онгудайский мужик — проворный, говорун. Живут себе, питаются у тракта хорошо, извозом занимаются, сено для ямщиков готовят, хлеб сеют. Не заметил я, чтоб они «до смерти работали», но что «до полусмерти пьют», — это я высмотрел прекрасно. И откуда они берут водку?

Монополька почти за 200 верст от них, в Алтайском. Не арыки ли, проведенные сметливой рукой сибиряка по всему селу, по каждому огороду, несут в себе это окаянное пойло, эту гадкую отраву души и тела?

Когда же этому конец?

Русский мужик погряз, русский мужик вконец пропивается, он на вымирание себя обрекает, он в пьяном виде зачинает детей, производит больное, нервное потомство.

Дай бог, чтоб я ошибался. Но преступно на это закрывать глаза. Если мужик сам не может выпростаться из болота, надо его схватить за волосы, вытащить и поставить на гору: «Иди и впредь не греши!» Но кто, кто это сделает, где у нас такой богатырь? Родился ли? А надо что-нибудь делать, надо торопиться. Время летит быстро, а зеленый черт с зелеными глазами орудует вовсю.

Онгудай село красивое. Уж осенью взобрался я на гору и глянул на село. День ясный был. Под ногами желтый лист лежал, деревья оголялись. А кругом все еще зеленели горы. Село сверху маленьким кажется, «но вправдашним», как сказал бы крестьянский мальчуган. Две улицы по селу прошли. Две церкви, старая и новая на пригорке красуются в зеленых рощах. Вдоль села Урсул гремит, по селу речка Онгудай течет, а от нее голубыми не пыльными тропинками бегут в канавках холодные ручейки — арыки. То здесь, то там среди села стоят зеленые колки: ели, лиственницы сбегались кучками и шепчутся. Кругом села желтеющие нивы: хлеб убран, сложен в желтые огромные зароды. Целая улица их. Нынче урожай хорош. Какая жара. Воздвиженьев день, а солнце печет немилосердно. И уж кстати замечу. Что за Алтай, что за страна сюрпризов! Вечером туча зашла, засияла молния, гром загрохотал. На другой день хиус подул, холоду нагнал, на третий день, 16 сентября, из Топучей в Шелаболиху я приехал на санях, зима была. А потом опять лето настало, теплое, бабье лето.

Онгудай село торговое. Зимой там ярмарка бывает, приезжают на ярмарку монголы на верблюдах за мукой.

XV. Веселые кержаки

Онгудайский ямщик стонет, ропщет на судьбу:

— И что ж это, господи, за напасть! Этаким наш окаянный станок. В одну сторону, к Кеньге, 35 верст, ну, тут хоть дорога ровная, в другую 42 версты. Это изволь-ка через Чике-Таман-то перелезть. Убой. Прямой убой для коней. И чего не сделают еще станка: один до Туехты, другой до Хабаровки. Чего ж это начальство-то... шутит, что ли, или смеется?!

Действительно, станок трудный. Чике-Таман — это своего рода колокольня Ивана Великого, причем неразумная природа так ухитрилась поставить, что мудрым строителям тракта пришлось вести дорогу чрез самый крестик этой колокольни.

Но прежде, чем подойти к сему страшному перевалу, остановимся на минутку в попутной кержацкой деревне Хабаровке.

Хабаровка славится изобилием плодов земных; картошки, капусты, всяческих хлебных злаков, изредка арбузов, еще славится сильными бородатыми мужиками, дородными молодухами, как красный мак, цветущими в любое время года, а больше всего-необычайно веселым медовым пивом, называемым по-кержацки «травянушкою». Травянушка весьма крепкая, быка с ног свалит.

— С трех стаканов человек обязательно должен с копытков слететь,— говорят про свое исчадие веселые кержаки.

Как только начнет пчела мед таскать, кержак принимается варит травянушку. И по праздникам дым коромыслом стоит по деревне. Самый же большой разгул начинается с осени, когда убран хлеб и подведены итоги лету. Ведь вот тоже гуляют; удало гуляют, православный, не подвертывайся под руку — запоят до смерти, молодой джигит-киргиз, не попадайся бабам-озорницам, скачи на своем удалом коне куда глаза глядят! С треском гуляют кержаки. А между тем во всем у них видно довольство, видна любовь к земле.

Православные говорят про них;

— Первые разбойники...

— Как так?

— Грабители, самые первейшие конокрады.

Но мне этому верить не хочется.

XVI. «Черт-атаман»

Чике-Таман. Прежде всего изречение, нацарапанное на придорожном столбе, на самой вершине перевала рукою отчаявшегося ямщика: «Ета не Чекетаман, а Черт-атаман, сорок восемь грехов». В этом все сказано, вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и погубившего здесь, может быть, не одну лошадь.

Чике-Таман — огромный горный кряж, преградивший путь в долину Улегома, куда выходит тракт. Вы подъезжаете вплотную к горе, выходите из повозки и пешком поднимаетесь по бесконечным извилинам тракта, подобно пьяному мужику, выписывавшему мыслете по крутому склону горы, и, измучившись, благополучно достигаете вершины перевала. А лошади тем временем надрываются над вашим экипажем. Вы поднялись на сто шестьдесят сажен и на столько же должны спуститься. А горизонтальное расстояние между крайними точками подъема и спуска всего одна верста. Все эти отдельные зигзаги тракта очень коротки и узки, радиусы закруглений малы, уклоны велики. Телега в закруглениях иногда не может повернуться: колеса висят над ничем не огражденной пропастью. Еще один неловкий шаг лошади, и она вместе с возом сорвется вниз.

И вот тут-то начинается ад. В особенности весной, или во время дождей, когда дорога покрывается липкой грязью.

Ругань самая отъявленная, какую только может выдумать озверелый человеческий ум, грохочет

в горах. Ямщики режут дикими, сумасшедшими голосами, — глаза у них свирепые, руки разбойные — палками и камнями бьют лошадей, лошадиные тощие бока, как барабан пустой, отдаются на удары, лошадь еле дышит, у ней в глазах темно, она сердце надсадила, у ней ноги дрожат, бока от палок ноют, в глазах ужасная боль стоит и мука.

— Но, холера! Но, падина! (...)

— Что ты делаешь! — кричу я. — Как ты смеешь бить свою кормилицу?

— А она, черт, не видит, куда везет... Ишь напрокинула...

Но как может знать лошадь, куда ей идти, если заблудились при постройке сами строители, проводят тракт не там, где нужно.

Конец.